

The book cover features a sepia-toned illustration. In the foreground, a young man with dark hair, wearing a dark jacket and a light-colored shirt, looks off to the side with a serious expression. Behind him, a large sphinx statue with a golden headdress sits on a pedestal. In the background, a cityscape with multi-story buildings is visible across a body of water.

Л. Пантелеев

ИСТОРИЯ МОИХ СЮЖЕТОВ

Издательство
«Геликон Плюс»

Леонид Пантелеев

История моих сюжетов (сборник)

«Геликон Плюс»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Пантелеев Л.

История моих сюжетов (сборник) / Л. Пантелеев — «Геликон
Плюс», 2015

В книгу классика русской советской детской литературы вошли его лучшие автобиографические рассказы. Тексты печатаются в основном по последнему собранию сочинений, а также и по труднодоступным журнальным публикациям.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Пантелеев Л., 2015
© Геликон Плюс, 2015

Содержание

Еще не всё	6
Повесть «Ленька Пантелеев» и моя подлинная биография	8
Честное слово	16
На ялике	20
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Л. Пантелеев

История моих сюжетов (сборник)

В книге использованы фотографии из архива Кальницких-Пугиных.

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

© Пантелеев Л. (наследники), 2015

© Лурье С., 2015

© Мечик-Бланк К., 2015

© Романков Л., 2015

© Геликон Плюс, 2015

Еще не всё

Лет, предположим, тому назад тридцать пять некий литератор, считавшийся тогда молодым, сказал про Л. Пантелеева примерно так: бывают такие времена, что значительность писателя определяется книгами, которых он не написал.

Алексей Иванович услышал. И понял. И оценил даже слишком высоко. Незадолго до смерти прислал тому литератору письмо:

«Если то, что мне удалось сделать за мою долгую жизнь, заслуживает внимания и критической оценки, то сделать это, лучше, чем кто-либо, можете Вы – не сейчас, так позже, когда меня не будет...»

Насколько я понимаю, от титула «советский писатель» у него зудело лицо, как от ввешенной маски. И он уже не верил, что сорвет ее сам.

Тем не менее, он это сделал. В повести, напечатанной посмертно, – «Верую...».

Раскрыл свою тайну, а в сущности – нехитрый секрет. Но страшно для него мучительный. Вносивший в его существование нестерпимую фальшь.

Дело в том, что Л. Пантелеев был не советский писатель. Потому что Алексей Иванович Еремеев был не советский человек. Поскольку презирал агитпроп, ненавидел госбезопасность и веровал во Христа.

Но работал он – формально, да и фактически – как любой подцензурный автор, – на агитпроп. Ненависть – скрывал. Веру – тщательно таил.

Да, из страха. За тех и за то, что любишь, и так далее. А верней – оттого, что не было выхода. Не имелось другого способа жить и даже просто – быть.

Это многих утешало и даже успокаивало навсегда. Но у Алексея Ивановича совесть была какая-то непримиримая. Особенно под конец, когда настало личное несчастье. Металась, как в клетке.

А вместе с тем – он надеялся на свою литературу. Что раз он старался не допустить в нее ни атома лжи и зла, она послужит истине и благу. И что за это читатели будут его любить и не сразу забудут.

И так действительно и вышло. В его текстах жила, освещая их, некая непререкаемая норма единственно правильного человеческого поведения. Полагаю, что они спасли множество душ.

Вообще, страшно представить: если бы советские люди с детства читали только произведения настоящих советских писателей, – что бы вышло.

Отсюда это чувство, с которым об Л. Пантелееве думают, как мало еще о ком: благодарность.

Хотя истинная ценность детских книг – или, допустим, игрушек – известна одним лишь детям. А перечитывать боязно.

Я рискнул, заглянул. Потери, конечно, есть. Какой-нибудь «Пакет» или одноактные пьесы про войну – лучше о них промолчать. Но зато «Честное слово» и «На ялике» – не потускнели, кажется, ничуть.

Проза для так называемых взрослых: «Наша Маша» – абсолютная и трагическая катастрофа. Мемуарная эссеистика, дневники, записные книжки – невероятное, навсегда поучительное зрелище: ум пытается превозмочь двойную цензуру (первый ряд заграждений – в самом себе).

Бесспорна «Республика ШКИД». И – «Верую...».

Итог, одним словом, положительный. Настолько, что даже рано его выводить. Этим еще займется когда-нибудь история литературы. Заодно отметит благородный характер, разберет загадочную биографию.

Объяснит, если сама поймет, – каким это чудом Вы, Алексей Иванович, вырвались из своей эпохи. Когда пошлость бушевала вокруг, подобно безумному чудовищу, – создали несколько таких вещей, в которых ей ну совершенно нечем поживиться.

Каким чудом спаслись, почти ничего не дав ей взамен.

Самуил Лурье

Алексей Иванович незадолго до смерти передал мне свой архив.

Это была середина 80-х годов, глухая ночь всеобщей лжи.

А он мучился тем, что всю жизнь прожил по легенде, точно шпион. И надеялся, что кто-нибудь – например, я – рано или поздно расскажет правду – и оправдает его.

Сам А. И. не решился – страшно было расстаться с читателем. Да никто и не позволил бы писателю Пантелееву, мальчику из Республики ШКИД, беспризорнику, которого советская власть вывела на свет из подземелья, – признаться, что все было не так, скорее, – наоборот...

Кое-что сказано в публикуемом тексте. Много другое – в книге, которую я составил из рукописей, найденных в архиве (Л. Пантелеев. «Верую...». Составление и вступительная статья С. Лурье. Л., 1989).

Но вся правда об этом благородном писателе, об этом несчастном человеке, о его трагической жизни, – вся правда о нем известна лишь Тому Единственному, в Кого он веровал горячо и тайно, скрывая эту веру, как унижительную вину, и стыдясь вечного страха, сглодавшего его судьбу и душу, как и миллионы других судеб и душ.

С. Л.

Повесть «Ленька Пантелеев» и моя подлинная биография

Я уже говорил и писал где-то, что называть повесть «Ленька Пантелеев» автобиографической можно лишь с некоторой натяжкой. Очень многое из рассказанного в повести было и в жизни автора. Был отец, участник русско-японской войны, получивший за подвиг дворянство. Была мать из купеческой семьи, были брат и сестра, двоюродная сестра Ира. Были приготовительное училище баронессы фон Мерценфельд и 2-е реальное училище, был реалист Волков, сын инженера, была горничная Стеша, крестный брат Сережа, поденщица Аннушка. Были ярославская деревня и ярославский мятеж, ферма, профшкола, Мензелинск, детдом в монастыре, лимонадный завод, рулетка, лампочки и многое другое. Но кое-что из перечисленного сокращено, умалено, кое-что преувеличено, кое-что затуманено, а кое о чем не сказано вовсе (такого не мало). Некоторые события поменялись местами. Например, настоящее бродяжничество выпало на мою долю уже после Шкиды – когда мы с Гришей в поисках кинематографического счастья устремились на юг. Уже туда нам пришлось с полдороги добираться без денег, путешествуя на манер героев О Генри или Джека Лондона. Вместе мы путешествовали до Харькова. Здесь Гриша, у которого не было хорошего жизненного опыта, заскучал, затосковал по родному Питеру. В Харькове мы расстались. И у меня только тут начались настоящие приключения и злоключения. В Петрограде «оборванный, длинноволосый, босой, перепачканный углем и нефтью», я появился не четырнадцатилетним, а шестнадцатилетним.

Вообще, жизнь моя, детство и юность были интереснее, чем жизнь Леньки Пантелеева. Почему же я не писал правду? Честно говоря, только потому, что правда в те времена не котировалась... Жизненный материал я типизировал, а точнее – схематизировал.

Например. О судьбе Волкова я ничего не знаю. Монархически-кадетскую атмосферу волковского дома я придумал. Жили Волковы гораздо скромнее. В повести подчеркнуто «классовое размежевание». Ничего не известно мне о судьбе Сережи Бутылочки после революции. Ему я тоже придал «типичную биографию». То же и со Стешей, которая дожила до блокады в очень скромной роли больничной, кажется, сиделки. Был в Ярославле хозяин «Европейской» гостиницы Поляков (переименованный мною в Пояркова), и был у него сын, белый офицер. Был звероподобный директор сельскохозяйственного училища под Мензелинском. Но придать ему идентичность с Поярковым заставила автора погоня за занимательностью сюжета.

В общем, со мной происходило приблизительно то же, что было с Буниным, когда он писал «Лику» или «Жизнь Арсеньева». Разница в том, что Бунин отрекся от именования его романа автобиографическим, а я своей рукой вывел этот подзаголовок. И вот теперь расплачиваюсь.

Придется, по-видимому, сделать все-таки то, чего я хотел избежать: попробовать написать совсем короткую автобиографию – без всяких подробностей и без всякой подцветки.

Родился я в 1907 году в Петербурге в доме № 140 по набережной реки Фонтанки, в собственном доме моего отца Ивана Афанасьевича Еремеева. При доме был лесной двор, где торговали дровами, досками, барочным лесом... В первом этаже были прачечная и лаковая мастерская (о которой, пиши я роман, а не краткую биографию, можно было сказать очень много), во дворе трехэтажный флигель с двумя квартирами, в одной из которых жила генеральша Соколова (переделанная в Силкову). В 1912-м или 1913 году отец, чтобы не иметь дела с перекупщиками, приобрел небольшой (на две пилорамы) лесопильный завод на Неве (у д. Кузминки) в 20 верстах от Шлиссельбурга, в 2–3 километрах от Островков, где в 1913 году мы жили на даче.

Женился отец по сватовству. Первое свидание моих будущих родителей состоялось в музее Александра III, то есть в нынешнем Русском музее.

О матери Александре Васильевне могу сказать, что она родилась 24 июня 1883 года в Петербурге в семье купца 1 гильдии – из архангельских крестьян. И мать, и отец ее носили фамилию Спехины. Происходили они из одной деревни – Зачачье Холмогорского уезда.

Лет восемь назад архангельский писатель К. рассказал мне, что в этом селе у здания школы стоит памятник (бюст?) Ивану Спехину, основателю этой школы.

Было это будто бы в пушкинские времена, в начале прошлого века. Молодой Иван Спехин пошел на заработки в Архангельск, там нанялся матросом на английский корабль, попал в Лондон, где в пьяном виде его завербовали в колониальную армию. Много лет он провел в Индии, испытал немало невзгод и приключений и только на склоне дней, каким-то образом разбогатев, давно став из Ивана Джоном, сумел вернуться на родину.

На свои средства он построил в Зачачье школу.

Поскольку прадеды и прабабки мои по материнской линии были сплошь Спехины, я не могу сомневаться, что во мне живет хоть капелька крови этого славного Джона Спайхина.

Мать кончила с серебряной медалью Александровскую гимназию на Гороховой улице, училась музыке на курсах Шлезингера (серебряную медаль, по поручению матери, я продавал в 1921 году на барахолке, в Александровском рынке).

Отец учился в Первом реальном училище, потом в Елизаветградском юнкерском. Служил во Владимирском драгунском полку. В начале русско-японской войны перевелся в 5-й Сибирский казачий полк (так как Владимирский на войну не шел), попал в действующую армию, воевал, совершил подвиг, получил орден Св. Владимира с мечами и бантом. В словаре Брокгауза и Ефрона (том 12, стр. 628) сказано: «Орден Св. Владимира дает потомственное дворянство». Дорого стоило мне – и в детстве, и в зрелые годы – это дворянство, которое отец заслужил кровью...

В русско-германскую войну отец четыре года провел на фронте. Последний раз я видел его в 1918 году. Он приезжал на несколько дней в деревню Ченцово Ярославского уезда той же губернии. В этой деревне, скрываясь от петроградского голода, мы жили у Федора Глебовича Корытова и у его жены Секлетии Степановны Корытовой. Федор Глебович был сначала приказчиком, а потом управляющим нашим лесным двором. Была с нами в Ченцове наша гувернантка, прибалтийская немка Елена Ивановна Тульпе, позже приехала сводная сестра отца Татьяна Афанасьевна (тетя Тэна), потом сестра матери Анна Васильевна (тетя Аня) с дочерью Ирой.

Отец пожил с нами дней пять. Ехал он в Ченцово в штатском, но в поездах несколько раз солдаты узнавали в нем офицера – по выправке. Несколько раз его задерживали.

Самые счастливые дни моего детства – последние дни, проведенные с отцом. Он приезжал прощаться.

Уехал и – канул.

Мать несколько раз ездила в Петроград. Нашу квартиру захватили, «национализировали» – к сожалению, не бедняки, перебравшиеся в хоромы из подвалов, а люди, никакого отношения к хижинам и подвалам не имевшие. Один из них был моряк, внук Федора Корытова, Василий Корытов, которого отец мой выгнал «из грязи в князи», дал возможность учиться, кончить гардемаринские курсы. Этот Васька Корытов, когда мама появилась в своей квартире, пьяный стрелял в нее из нагана, пуля пролетела над самой головой. В кабинете отца поселился некто Киселев, работник Экспедиции заготовления государственных бумаг, тоже никакой не пролетарий. Этот Киселев взломал несгораемый шкафчик в кабинете отца, уверенный, что найдет там золото и бриллианты. Но в сейфе ничего, кроме деловых бумаг и высочайших рескриптов о награждении орденами, не оказалось. На Киселева кто-то донес в Чека. Ему грозил суд и – по его словам – расстрел. Каким-то образом он разыскал мою мать (приехав

из деревни, она остановилась у сестры Раисы Васильевны), упал перед нею на колени и умолял сходить куда следует и сказать, что сейф открыла она сама.

Мама это сделала.

С нами поступили жестоко и несправедливо. Никто из наших родственников (а среди них было немало людей во много раз зажиточнее нас) не потерял и сотой доли того, что потеряли мы.

Но в детские и юношеские годы, зараженный пафосом революции, я считал, что все совершившееся справедливо, и не позволял себе горевать о потерянном барахле. А потеряли мы буквально все – от одежды, мебели и посуды до икон и прадедовских книг. Матери удалось высудить только беккеровский рояль – свое приданое и «орудие производства». Все остальное осталось в пользовании тех, кто поселился в наших пяти комнатах. Года до 1970-го, когда дом был снесен, на окнах нашей бывшей детской висели те самые тюлевые занавески, декадентский рисунок которых я помнил с младенческих лет.

... Ушел на полстолетия вперед.

До осени 1919 года мы жили в Ченцове. Несколько раз за это время мама ездила в Петроград. Там до нее дошел слух, что отец арестован, что ему предложили работать «по специальности», быть директором государственного лесозавода где-то под Петрозаводском, но что он, мол, отказался. Какой-то авантюрист приходил к С. А. Пурышеву, единоутробному братцу отца, просил сколько-то тысяч за «выкуп» отца. Тысячи ему даны не были.

Потом в Ченцово пришло письмо от тетки нашей мамы, игуменьи Холмогорского монастыря матери Ангелины. В постскриптуме она писала: «Недавно у нас гостил Иван Афанасьевич».

Фраза эта звучала совершенно фантастически. В такое время! Отец! Гостил! В монастыре!

Много позже мы узнали, что в Холмогорском женском монастыре (вероятно, в части его) была оборудована тюрьма.

Чтобы не возвращаться к теме отца, скажу, что он, не в пример Ивану Андриановичу из «Леньки Пантелеева», не был запойным пьяницей и не оставлял семьи.

Но он мог бы и развестись с женой, и запить горькую. К этому легко могли толкнуть его и характер, и неудачно сложившаяся судьба.

... После подавления эсеровского восстания и на ярославскую землю пришел голод. Летом 1919 года мама и тетя Тэна отправились на поиски более хлебных мест. Таким хлебным местом оказался им татарский город Мензелинск, стоящий километрах в десяти от Камы (от пристани Пьяный Бор).

На выезд из Ярославской губернии нужен был пропуск. Запомнилась эта последняя поездка с мамой в Ярославль (много позже, в 1929 году, я был проездом в Ярославле – с С. Я. Маршаком).

До Мензелинска добирались долго и трудно. Тети Тэны с нами уже не было, она вернулась в Питер. Ехали Александра Васильевна с тремя детьми, Елена Ивановна и Анна Васильевна с Ирой. На какие средства мы ехали и вообще жили – не знаю. Продавали и выменивали жалкие остатки барахла.

До Мензелинска добрались поздней осенью. Из города совсем недавно ушли белые. Мне показывали сапожника, знаменитого тем, что он чистил сапоги адмиралу Колчаку.

Унылая голодная жизнь. Почему-то часто меняем квартиры. Запомнилось 4–5 мест пребывания.

Угарные печи, клопы, ободранные обои.

Мама жарит пирожки с кониной, мы с Васей торгуем ими на рыночной Соборной площади.

Бесконечные болезни.

Перед второй годовщиной Октябрьской революции выдают – кажется, только детям – по четверть фунта пчелиного меда.

Я учусь в б. реальном училище.

Читаю. Пробую продолжать свои занятия литературой. Пишу стихи, прозу, пытаюсь сочинять пьесу, которую ставим в помещении общественной столовой (зав. этой столовой Сумзин – отец моего товарища по классу).

Мать уезжает в Петроград. Задерживается там. Не пишет. Вася на ферме. Тетка и меня посылает туда же.

(Вспомнил, как я мечтал об этой ферме. Представлял ее каким-то колледжем. В связи с этим вспомнилось другое. Мечты о кадетском корпусе, куда меня почему-то прочила мама, чему категорически воспротивился отец.)

Мучительная жизнь на ферме, в этом вертепе, изображенном несколько смягченно в повести. Уроки воровства.

Побег. Детский дом. Налет на монастырь.

Возвращение матери. И мое возвращение к ней.

Она заведует детским садом.

К ней сватаются – сначала местный покоритель сердец, парикмахер, потом – загадочная личность – Король Электричества, артист эстрады, с сыном которого Володькой мы учились, кажется, в одном классе.

Мать не теряет надежды, что пропавший без вести отец – вернется.

Отказывает «женихам».

Дает уроки музыки. Играет на рояле на киносеансах в городском клубе «Аудитория»... Там я впервые увидел Короля Электричества.

Пишу обо всем этом, как в анкете в графе «Краткая автобиография». Писать скучно.

В Мензелинске мы жили до 1921 года.

Забыл упомянуть профшколу, в которой я учился после фермы. Школа эта в повести написана довольно точно.

Двухнедельное путешествие на пароходах и в поездах до Петрограда...

Начало нэпа. Еще очень голодно. Приютила нас в своей восьмикомнатной квартире мамина старшая сестра Раиса Васильевна (в той самой квартире, где бывал когда-то Распутин). Мы с Васей спим на полу в прихожей. Потом живем в бывшей столовой – Ира с тетей Аней и мы четверо. Елена Ивановна репатрировалась, уехала к себе на родину, в Эстонию. Помню, как мы провожали ее на Варшавском вокзале.

И здесь, в Петрограде, мы люто мерзли. Мама ходила на Фонтанку, в бывший наш дом, просила у Киселева (он был председателем домового «Комитета бедноты») разрешения взять несколько досок с бывшего нашего же лесного двора. Иногда Киселев разрешал, и мы с Васей волокли на салазках эти доски или пластины с Фонтанки на Екатерининский канал в «дом церкви Вознесения».

Муж Раисы Васильевны Михаил Петрович – делец, коммерсант, владевший до революции винными складами, фруктовым магазином и рестораном на Невском (в доме Елисеева, где сейчас кино «Баррикада»), в начале нэпа вышел из состояния вынужденной спячки и занялся делами (между прочим, этот респектабельный буржуй учил меня, Васю и своих двух сыновей, Вову и Сережу, самому заурядному воровству. Под его руководством и с его участием мы несколько раз забирались ночами в склад аптекарской посуды, находившийся во дворе церковного дома, и уносили штук по десять больших стеклянных банок с притертыми пробками. Зачем они ему были нужны, эти банки, – не знаю. Нам, мальчишкам, это занятие нравилось, в нем был азарт – бескорыстный).

Нужно было что-то делать и нашей маме. О работе и речи не могло быть.

Кто-то надоумил ее открыть на Сенной чайную. Денег у нее не было. Один пай внесла тетя Тэна, другой – в виде каракулевого сака – тетя Аня. Мамин пай был – ее труд. Крохотную чайную в два окна, на пять-шесть столиков называли «Теремок». Недолгое время работал там в качестве официанта и я. На крохотной кухне работала Ира.

Вообще-то я учился в советской единой школе, в б. гимназии Гёде на Екатерининском канале, угол Фонарного переулка. (Был там среди моих товарищей сын портного Изя Шнерзон, несколько лет спустя кончивший самоубийством, была девочка, носившая бойскаутскую шляпу. Сохранялись нравы, о которых повествуется в «Леньке Пантелееве». Но Володька Прейснер, журнал «Ученик», история с Карлом Марксом и др. – или выдуманно, или почерпнуто из других периодов жизни.)

...Одним из завсегдатаев чайной «Теремок» был Василий Васильевич Осипов, высокий красивый ярославец, полуопртовый торговец мясом. Чем он пленил нашу маму, этот полуграмотный человек, не знаю. Он был женат, жил неподалеку, на Мещанской улице. Сильно пил (загадка творчества: почему-то этот грех я перенес с отчима на отца).

Однажды, когда Василий Васильевич (или Васвас, как звали его мы с Васей и Лялей) сидел в «Теремке» и потягивал из стакана самогон, туда прибежала девочка и сказала, что жена его – сгорела.

Женщина эта разжигала примус, он почему-то вспыхнул, она схватила его и выбежала на лестницу. Там и охватило ее пламя.

Жила она четыре дня.

Все эти четыре дня мама наша не отходила от нее, не спала ни одной ночи.

Женщина умерла.

Когда, в каком году это случилось, – сказать не могу, не помню.

«Доход», который давала чайная, был мизерный. Сытым я себя не помню. Тут и начались лампочки, магазин «ПЕПО», «кручу-верчу» и многие другие проделки, о которых я в повести – да и нигде вообще – не упомянул.

Дважды я «печатал пальцы» в угрозыске.

Михаил Петрович открыл к этому времени в Горсткиной улице лимонадный завод под фирмой «Экспресс». По просьбе мамы он взял меня «в мальчики». Его компаньоном был человек по фамилии Краузе.

Захар Иванович (фигура яркая) от начала до конца выдуман.

Я доставлял много огорчений маме.

Наконец я попал (кажется, после «операции» в «ПЕПО») в очередной раз в уголовный розыск, оттуда в детский распределитель (или приемник) на Б. Конюшенной, затем под конвоем в Комиссию по делам несовершеннолетних, откуда и получил направление в школу им. Достоевского.

Когда это случилось, не помню. Не знаю даже, летом или зимой.

Я уже был несколько месяцев в Шкиде, когда маме сделал предложение мой будущий отчим В. В. Осипов. никаких точных сведений о гибели моего отца не было, мама и по церковному, и по гражданскому праву считалась замужней. За разрешением на новый брак ей пришлось обращаться к митрополиту Петроградскому Вениамину. Но этого ей показалось мало. В первый приемный день она приехала ко мне в школу им. Достоевского и сказала, что без моего согласия замуж не пойдет. Страшновато вспоминать этот день. Отца я любил, не терял надежды, что он жив, но я не только благословил маму на брак, но и согласился быть шафером на ее свадьбе.

На Мещанской маме жилось несколько не лучше, чем до этого. Василий Васильевич пил, дела его шли из рук вон плохо... Будучи женой торговца, маме приходилось делать тряпичные куклы, потом – искусственные цветы. (Давно мечтаю – и вряд ли эта мечта осуществится – написать правду о нэпе). О нэпманах не только у молодого современного читателя, но и у

людей пожилых представление самое лубочное – по карикатурам В. Лебедева, К. Рудакова и др. Нэпманы были, конечно, и такие – толстопузые, в ботинках «Джимми», в брюках дудочками, а нэпманши – в фетровых ботиках и меховых шубках. Но среди тех, кого я знал, таких не было. Богатыми нэпманами (но не такими, опять-таки, не карикатурными) были до поры до времени и Михаил Петрович с Раисой Васильевной. Нэпманом был старый, дореволюционный, весьма уважаемый коммерсант Краузе. Но нэпманшей считалась и тетка Васвас, дряхлая старуха, торговавшая на улице деревянными ложками. В конце двадцатых годов эту «нэпманшу» лишили избирательных прав и выслали из Ленинграда. Василий Васильевич и жена его, моя мать, тоже были лишенцами...

...Выйдя из Шкиды, я поселился на Мещанской, спал на сундуке в коридоре. Вася работал в частной мастерской Солюянова учеником слесаря, потом перешел в кондитерскую...

До этого торговал на рынке, в пивных и чайных – искусственными цветами. Этим же занимались и мы с Лялей. И даже некоторое время Гриша Белых. Позже мы торговали с ним газетами... (Все это должно было войти в повесть, которую я очень долго и мучительно писал и не дописал. Как я сейчас понимаю, задуманная как продолжение «Республики ШКИД», она никак не смыкалась, не склеивалась с этой легкомысленной, далекой от настоящих жизненных трудностей повестью.)

Мы с Гришей начали понемногу печататься. В «Кинонеделе», потом – в юмористическом журнале «Бегемот».

Я сочинял анекдоты и подписи к карикатурам. Носил их полсотнями и больше в «Бегемот» на Фонтанку. Там милый, по-петербургски интеллигентный человек, секретарь редакции В. Черный проглядывал мои анекдоты и отбирал из полусотни – один-два. За анекдот или подпись под рисунком платили бешеные деньги – шесть рублей!

Отчим, который называл меня почему-то «комсоголец», один раз сказал мне:

– Эх, ты, голова садовая!..

– И не Садовая, а Третьего июля, – ответил я и сразу же поймал себя на мысли: «Готовый анекдот».

Записал, снес в «Бегемот» и в ближайшем номере увидел этот шедевр напечатанным.

(Старинная Садовая в довоенные годы называлась улицей Третьего июля.)

Остается сказать, что на поиски кинематографического счастья мы направились с Гришей летом (в самом начале лета, по-видимому) 1924 года. Мама не могла дать мне денег на дорогу, дала самое ценное, что у нее было, – пачку, в полпуда весом, цветной рогожки, в какую обертывались корзины с искусственными булденежами¹. Эту рогожку мы мучительно долго продавали в Москве на Сухаревке, с трудом нашли покупателя.

...Доскажу то, чего не досказал, или то, что еще вспомнилось.

В Харькове я несколько дней работал учеником киномеханика в кинематографе (кажется) «Маяк». Устроил меня (одного из нас) человек по фамилии Невский, какой-то деятель, кажется, профсоюзный, оказавшийся питерцем. Как мы к нему попали, хоть убейте, не помню. Он дал нам записку к механику этого «Маяка». Именно в эту минуту, когда мы сидели на ступеньке проекционной будки и ждали механика, у Гриши и возникла мысль о возвращении в Питер. Слишком ничтожным показался ему результат нашего кинопутешествия: вместо лавров киноартистов или режиссеров – работа мальчиком в киноподке. Да еще надо было тянуть жребий: кому? После решения Гриши этот вопрос отпал. Мне работа понравилась, но у меня не было ни жилья, ни прописки, оформить меня на работе не могли.

...Харьковские и вообще украинские и южнорусские впечатления отражены в рассказах «Портрет» и «Часы».

¹ булденеж («снежный шар») – кустарник (декоративная форма калины), шаровидные соцветия используются для срезки и аранжировки букетов.

Аркашку я встретил именно в это время. Но соблазнить меня, как соблазнил он в повести Леньку, ему не удалось.

На Украине я встретил слепого нищего, раскулаченного мельника. Недели две-три я был его поводырем. Сам не просил, но – ел милостыню.

Эти мои приключения и злоключения были куда сложнее, интереснее выдуманных злоключений «Леньки Пантелеева» – тем, что тут была внутренняя борьба, и мне удалось выйти из нее победителем.

Говорят коротко – после Шкиды я и Гриша ни разу не взяли ничего чужого. А ведь очутился я в обстоятельствах куда более сложных, чем 2–3 года назад.

Маму я не хотел расстраивать, писал ей радужные завиральные письма. Но пришел день, когда я не выдержал и написал ей, что «в данный момент» оказался «не при деньгах». Она перевела мне – сколько сумела: три рубля. Было это еще в Харькове. Я стоял на почте в очереди к окошечку «До востребования». Перед этим три дня ничего не ел, «только воду стегал» (и съел еще, помню, вымыв его предварительно в струе городского фонтана, огрызок абрикоса). И вот, не доходя почтового окошечка, я обессилел, зашатался и упал. Первый раз в жизни. Второй был зимой 1942 года в блокадном Ленинграде (что такое голод и вообще что такое фунт лиха, я рано узнал, это лихо долго ходило за мною по пятам).

* * *

Дохлый котенок в кармане – тоже в эту пору моих скитаний.

* * *

Из Ченцова два раза убежал – в Петроград (когда мама уезжала туда). Один раз с восьмилетним Васей. Дошли до г. Нерехта Костромской губернии. Пришли туда поздно вечером, было уже темно. Навстречу шумная толпа мальчишек. Я говорю:

– Скажите, пожалуйста, где тут гостиница?

И на всю жизнь запомнился дружный хохот и чей-то голос:

– Свалились, когда с горы скатились!..

Второй раз такой же неудачный побег – с тринадцатилетней Ирой.

* * *

Отчим Василий Васильевич был ярославец, деревенский, из-под Углича. Мальчиком его привезли в Питер – в корзинке, чтобы не платить за билет. Об этой корзинке он, подвыпив, любил рассказывать нам – пасынкам – в назидание.

* * *

Мне было трудно жить с отчимом. Когда я вернулся в Ленинград с юга, кто-то нашел мне комнату – в доме, где жил, по преданию, Раскольников. Комната эта была совсем в духе Достоевского. Узкая, как щель, на пятом этаже. Окно – на потолке, так наз. «верхний свет». Сестра моя вспоминает, с каким трудом она и Гриша Белых втаскивали по узкой питерской лестнице старую железную кровать – в это мое жилище.

Потом я поселился у Гриши, в крохотной комнатке возле кухни, в первом этаже, с окнами на второй двор (Измайловский, 7, кв. 92. впрочем, не Измайловский, а проспект Красных Командиров. Так называлась эта улица с 1918-го по 1944 год).

* * *

Литературными крестными отцами моими (нашими) считаются Маршак и Шварц. Иногда приплетают сюда и Горького.

На самом же деле, первый, кто приветил меня в литературе, был уже упомянутый выше В. Черний, секретарь редакции журнала «Бегемот», старый сатириконовец, печатавший и в «Сатириконе», и в «Бегемоте», и в «Крокодиле», и в др. журналах под этим невеселым псевдонимом (В. Черний, то есть Вечерний) очень печальные рассказы.

Потом, когда выходила «Республика ШКИД», мы встретили его в Доме книги. Он работал в Огизе корректором. Хвалил «Республику ШКИД». И было грустно от этой похвалы...

Впервые – в журнале «Нева», 1994, № 4.

Честное слово

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких ляпочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе.

Как-то летом я зашел в садик, – я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер.

Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу.

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.

Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах; какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал.

Я подошел и окликнул его:

– Эй, что с тобой, мальчик?

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

– Ничего.

– Как это ничего? Тебя кто обидел?

– Никто.

– Так чего ж ты плачешь?

Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом.

– Давай пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдернул руку и сказал:

– Не могу.

– Что не можешь?

– Идти не могу.

– Как? Почему? Что с тобой?

– Ничего, – сказал мальчик.

– Ты что – нездоров?

– Нет, – сказал он, – здоров.

– Так почему ж ты идти не можешь?

– Я – часовой, – сказал он.

– Как часовой? Какой часовой?

– Ну, что вы – не понимаете? Мы играем.

– Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

– Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке.

– Послушай, – сказал я ему. – Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь – с кем?

– Да, – сказал мальчик. – Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик... он маршал был... он привел меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад – в этой будке. А ты будешь часовой... Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдешь».

– Ну?

– Ну, я и сказал: «Честное слово – не уйду».

– Ну и что?

– Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.

– Так, – улыбнулся я. – А давно они тебя сюда поставили?

– Еще светло было.

– Так где же они?

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

– Я думаю, – они ушли.

– Как ушли?

– Забыли.

– Так чего ж ты тогда стоишь?

– Я честное слово сказал...

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это или не игра – все равно.

– Вот так история получилась! – сказал я ему. – Что же ты будешь делать?

– Не знаю, – сказал мальчик и опять заплакал.

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдешь, этих мальчишек?..

Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось...

– Ты, наверно, есть хочешь? – спросил я у него.

– Да, – сказал он, – хочу.

– Ну, вот что, – сказал я, подумав. – Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.

– Да, – сказал мальчик. – А это можно разве?

– Почему же нельзя?

– Вы же не военный.

Я почесал затылок и сказал:

– Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник...

И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного.

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», – а сам, не теряя времени, побежал к выходу...

Ворота еще не были закрыты, еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.

Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице.

Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зеле-

ными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.

Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел – за углом, на трамвайной остановке – защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломая голову я побежал к остановке. И вдруг, не успев добежать, вижу – к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:

– Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

– В чем дело?

– Видите ли, в чем дело, – сказал я. – Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик... Он не может уйти, он дал честное слово... Он очень маленький... Он плачет...

Командир хлопнул глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

– При чем же тут я? – сказал он.

Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито.

Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал:

– Идемте, идемте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскивали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять – но на этот раз очень тихо – плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

– Ну, вот, я привел начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

– Товарищ караульный, – сказал командир. – Какое вы носите звание?

– Я – сержант, – сказал мальчик.

– Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

– А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек...

– Я – майор, – сказал командир.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

– Есть, товарищ майор. Приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.

Майор протянул мальчику руку.

– Молодец, товарищ сержант, – сказал он. – Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания.

Мальчик что-то пробормотал и сказал: «До свиданья».

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.

– Может быть, тебя проводить? – спросил я у него.

– Нет, я близко живу. Я не боюсь, – сказал мальчик.

Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, действительно, нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.

А когда он вырастет... Еще не известно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.

И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.

1941

На ялике

Большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде, шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду весла и с каким облегчением выскальзывают они из нее, сверкая на солнце и рассыпая вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

Я сидел на большом теплом и шершавом камне у самой воды, и мне было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я даже рад был, что лодка еще далеко и что, значит, можно еще несколько минут посидеть и подумать... О чем? Да ни о чем особенном, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над головой, как чудесно пахнет водой, ракушками, смоленным деревом...

Я уже давно не был за городом, и все меня сейчас по-настоящему радовало: и чахлый одуванчик, притаившийся под пыльным зонтиком лопуха, и легкий, чуть слышный плеск невиской волны, и белая бабочка, то и дело мелькавшая то тут, то там в ясном и прозрачном воздухе. И разве можно было в эту минуту поверить, что идет война, что фронт совсем рядом, что он тут вот, за этими крышами и трубами, откуда изо дня в день летят в наш осажденный город немецкие бомбардировщики и дальнобойные бризантные снаряды? Нет, я не хотел думать об этом, да и не мог думать, так хорошо мне было в этот солнечный июльский день.

* * *

А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ. Ялик подходил к берегу, и, чтобы не потерять очереди, я тоже прошел на эти животрепещущие дощатые мостки и смешался с толпой ожидающих. Это были всё женщины, всё больше пожилые работницы.

Некоторые из них уже перекликались и переговаривались с теми, кто сидел в лодке. Там тоже были почти одни женщины, а из нашего брата только несколько командиров, один военный моряк да сам перевозчик, человек в неуклюжем брезентовом плаще с капюшоном. Я видел пока только его спину и руки в широких рукавах, которые ловко, хотя и не без натуги, работали веслами. Лодку относил течением, но все-таки с каждым взмахом весел она все ближе и ближе подходила к берегу.

– Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих.

Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, серьезное, строгое, темное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на околыше падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.

По тому, как тепло и дружно приветствовали его у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик не случайно и не в первый раз сидит на веслах.

– Капитану привет! – зашумели женщины.

– Мотенька, давай, давай сюда! Жаждались мы тебя.

– Мотенька, поспеши, опаздываем!

– Матвей Капитоныч, здравствуй!

– Отойди, не мешай, бабы! – вместо ответа закричал он каким-то хриплым простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала, качнулась и заскрипела. Маль-

чик зацепил веслом за кромку мостков, кто-то из военных спрыгнул на пристань и помог ему причалить лодку.

Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.

Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распорядился посадкой.

– Эй, тетка! – покрикивал он. – Вот ты, с противогазом которая. Садись с левого борта. А ты, с котелком, – туда... Тихо... Осторожно. Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Он сосчитал, сбился и еще раз пересчитал, сколько людей в лодке.

– Довольно. Хватит! За остальными после приеду.

Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал свой брезентовый балахон, уселся и стал собирать двугривенные за перевоз.

Я, помню, дал ему рубль и сказал, что сдачи не надо. Он шмыгнул носом, усмехнулся, отсчитал восемь гривен, подал их мне вместе с квитанцией и сказал:

– Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу.

Потом пересчитал собранные деньги, вытащил из кармана большой старомодный кожаный кошель, ссыпал туда монеты, защелкнул кошель, спрятал его в карман, уселся поудобнее, поплевал на руки и взялся за весла.

Большая, тяжелая лодка, сорвавшись с места, легко и свободно пошла вниз по течению.

* * *

И вот, не успели мы как следует разместиться на своих скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день.

Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею – Каменный остров, над которым все выше и выше поднималось утреннее солнце. Густая зеленая грива висела над низким отлогим берегом. Сквозь яркую свежую листву виднелись отсюда какие-то домики, какая-то беседка с белыми круглыми колоннами, а за ними... Но нет, там ничего не было и не могло быть. Мирная жизнь спокойно, как река, текла на этой цветущей земле. Легкий дымок клубился над пестрыми дачными домиками. Чешуйчатые рыбацьи сети сушились, растянутые на берегу. Белая чайка летала. И было очень тихо. И в лодке у нас тоже почему-то стало тише, только весла мерно стучали в уключинах да за бортом так же мерно и неторопливо плескалась вода.

И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину ворвался издали звук, похожий на отдаленный гром. Легким гулом он прошел по реке. И тотчас же в каждом из нас что-то екнуло и привычно насторожилось. А какая-то женщина, правда не очень испуганно и не очень громко, вскрикнула и сказала:

– Ой, что это, бабоньки?

В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели на мальчика, который, кажется, один во всей лодке, не обратил никакого внимания на этот подозрительный грохот и продолжал спокойно грести.

– Мотенька, что это? – спросили у него.

– Ну что! – сказал он, не поворачивая головы. – Ничего особенного. Зенитки.

Голос у него был какой-то скучный и даже грустный, и я невольно посмотрел на него. Сейчас он показался мне почему-то еще моложе, в нем было что-то совсем детское, младенческое: уши под большим картузом смешно оттопыривались в стороны, на загорелых щеках проступал легкий белый пушок, из-под широкого и жесткого, как хомут, капюшона торчала тонкая, цыплячья шейка.

А в чистом, безоблачном небе уже бушевала гроза. Теперь уже и мне было ясно, что где-то на подступах, на фортах, а может быть и ближе, работают наши зенитные установки. Как видно, вражеским самолетам удалось пробиться сквозь первую линию огня, и теперь они уже летели к городу. Канонада усиливалась, приближалась. Все новые и новые батареи вступали в дело, и скоро отдельные залпы стали неразличимы, – обгоняя друг друга, они сливались в один сплошной гул.

– Летит! Летит! Поглядите-ка! – закричали вдруг у нас в лодке.

Я посмотрел и ничего не увидел. Только мягкие, пушистые дымчатые клубочки таяли то тут, то там в ясном и высоком небе. Но сквозь гром зенитного огня я слышал знакомый прерывистый рокот немецкого мотора. Гребец наш тоже мельком, искоса посмотрел на небо.

– Ага. Разведчик, – сказал он пренебрежительно.

И я даже улыбнулся, как это он быстро, с одного маха нашел самолет и с какой точностью определил, что самолет этот не какой-нибудь, а именно разведчик. Я хотел было попросить его показать мне, где он увидел этого разведчика, но тут будто огромной кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду.

* * *

Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж земля и небо дрожали от этого грома и грохота, а тут вдруг оказалось, что все это были пустяки, что до сих пор было даже очень тихо и что только теперь-то и началась настоящая музыка воздушного боя.

Ничего не скажу – было страшно. Особенно, когда в воду – и спереди и сзади, и справа и слева от лодки – начали падать осколки.

Мне приходилось уже не раз бывать под обстрелом, но всегда это случалось со мной на земле, на суше. Там, если рядом и упадет осколок, его не видно. А тут, падая с шипеньем в воду, эти осколки поднимали за собой целые столбы воды. Это было красиво, похоже на то, как играют дельфины в теплых морях, – но если бы это действительно были дельфины!..

Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, съежились, пригнули как можно ниже головы. А многие из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжелого и раскаленного куса металла. Но ведь известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову.

Но я не мог сделать этого.

Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил весел. Так же уверенно и легко вел он свое маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на своих пассажиров – и усмехался. Да, усмехался. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах.

«Неужели он не боится? – подумал я. – Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить весла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. А впрочем, он еще маленький, – подумалось мне. – Он еще не понимает, что такое смерть, поэтому небось и улыбается так беспечно и снисходительно».

Канонада еще не кончилась, когда мы пристали к берегу. Не нужно было никого подгонять. Через полминуты лодка была уже пустая. Под дождем осколков, совсем как это бывает под настоящим проливным дождем, женщины бежали на берег и прятались под густыми шапками приземистых дубков и столетних лип.

Я вышел из лодки последним. Мальчик возился у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.

– Послушай! – сказал я ему. – Чего ты копаешься тут? Ведь, посмотри, осколки летят...

– Чего? – переспросил он, подняв на секунду голову и посмотрев на меня не очень любезно.

– Я говорю: храбрый ты, как я погляжу. Ведь страшно все-таки. Неужели ты не боишься? В это время тяжелый осколок с тупым звоном ударился о самую кромку мостков.

– А ну, проходите! – закричал на меня мальчик. – Нечего тут...

– Ишь ты какой! – сказал я с усмешкой и зашагал к берегу. Я был обижен и решил, что не стоит и думать об этом глупом мальчишке.

Но, выйдя на дорогу, я все-таки не выдержал и оглянулся. Мальчика на пристани уже не было. Я поискал его глазами. Он стоял на берегу, под навесом какого-то склада или сарая. Весла свои он тоже притащил сюда и поставил рядом.

«Ага, – подумал я с некоторым злорадством. – Все-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик!..»

Но, по правде сказать, мне все еще было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался храбрее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею.

* * *

Дела, которые привели меня на Каменный остров, к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обрато в город меня обещали «подкинуть» на штабной машине, прибытия которой ожидали с минуты на минуту.

В ожидании машины, от нечего делать, я беседовал с командиром батареи о всякой всячине и, между прочим, рассказал о том, как сложно я к ним добирался, и о том, как наш ялик попал в осколочный дождь.

Командир батареи, пожилой застенчивый лейтенант из запасных, почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.

– Да, да... – сказал он, вытирая платком лицо. – К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что же поделаешь! Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но все-таки неприятно. Очень неприятно. Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три тому назад тут перевозчика осколком убило.

Я, помню, даже вздрогнул, когда услышал это.

– Как перевозчика? – сказал я. – Где? Какого?

– Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвизался. И дед.

– А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я.

– Ха! – улыбнулся лейтенант. – Ну как же! Мотя! Матвей Капитоныч! Адмирал Нахимов мы его зовем. Это сынишка того перевозчика, который погиб.

– Как! – сказал я. – Того самого, который от осколка?..

– Ну да. Именно. Того Капитоном звали, а этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывалый. Лет ему – не сосчитать как мало, а работает – сами видели, – со взрослыми потягаться может. И притом, что бы ни было, всегда на посту: и днем и ночью, и в дождь и в бурю...

– И под осколками, – сказал я.

– Да, и под осколками. Этого уж тут не избежишь! Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические...

Лейтенант мне еще что-то говорил, что-то рассказывал, но я плохо слушал его. Почему-то мне вдруг страшно захотелось еще раз увидеть Мотю.

– Послушайте, товарищ лейтенант, – сказал я поднимаясь. – Знаете, – что-то ваша машина застряла. А у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.

– А как же вы? – удивился лейтенант.

– Ну что ж, – сказал я. – Придется опять на ялике.

* * *

Когда я пришел к перевозу, ялик еще только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды, но так же легко, спокойно и уверенно работали весла и вели его наискось по течению, поблескивая на солнце и оставляя в воздухе светлую радужную пыль. А солнце стояло уже высоко, припекало, и было очень тихо, даже как-то особенно тихо, как всегда бывает летом после хорошего проливного дождя.

На пристани еще никого не было, я сидел один на скамеечке, поглядывая на воду и на приближающуюся лодку, и на этот раз мне уже не хотелось, чтобы она шла подольше, – наоборот, я ждал ее с нетерпением. А лодка как будто чувала это мое желание, шла очень быстро, и скоро в толпе пассажиров я уже мог разглядеть белый парусиновый балахон и боцманскую фуражку гребца.

«И днем и ночью, и в дождь и в бурю», – вспомнил я слова лейтенанта.

И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь вот, на этом самом месте, в такой же, наверно, погожий, солнечный денек, на этой же самой лодке, с этими же веслами в руках погиб на своем рабочем посту отец этого мальчика. Я отчетливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети, – и вот этот мальчик тоже, – и какое это было горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах, когда какая-то чужая старуха всхлипнула, перекрестилась и сказала: «Царство небесное. Помер...»

И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же веслами, которые выпали тогда из рук его отца.

«Как же он может? – подумал я. – Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой еще небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к веслам, и к черной невской воде. Даже отдаленный орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался. Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий!..»

Но тут мои размышления были прерваны. Веселый женский голос звонко и раскатисто, на всю реку, прокричал за моей спиной:

– Матвей Капитоныч, поторопи-ись!..

Пока я сидел и раздумывал, на пристани уже скопилась порядочная толпа ожидающих. Опять тут было очень много женщин-работниц, было несколько военных, две или три девушки-дружинницы и молодой военный врач.

Лодка уже подходила к мосткам. Повторилось то же, что было давеча на том берегу. Ялик ударился о стенку причала и заскрипел. Женщины и на берегу и в лодке загалдели, началась посадка, и мальчик, стоя в лодке и придерживаясь веслом за бортик мостков, не повышая голоса, серьезно и деловито командовал своими пассажирами. Мне показалось, что за эти два часа он еще больше осунулся и похудел. Темное от загара и от усталости лицо его блестело, он тяжело дышал. Балахон свой он расстегнул, распахнул ворот рубашки, и оттуда выглядывала полоска незагорелой кожи. Когда я входил в лодку, он посмотрел на меня, улыбнулся, показав на секунду маленькие белые зубы, и сказал:

– Что? Уж обратно?

– Да. Обратно, – ответил я и почему-то очень обрадовался и тому, что он меня узнал, и тому, что заговорил со мной и даже улыбнулся мне.

Усаживаясь, я постарался занять место поближе к нему. Это удалось мне. Правда, пришлось кого-то не очень вежливо оттолкнуть, но когда мальчик сел на свое капитанское место, оказалось, что мы сидим лицом к лицу.

Выполнив обязанности кассира, собрав двугривенные, пересчитав их и спрятав, Мотя взялся за весла.

– Только не шуметь, бабы! – строго прикрикнул он на своих пассажиров. Те слегка притихли, а мальчик уселся поудобнее, поплевал на руки, и весла размеренно заскрипели в уключинах, и вода так же размеренно заплескалась за бортом.

Мне очень хотелось заговорить с мальчиком. Но, сам не знаю почему, я немножко робел и не находил, с чего начать разговор. Улыбаясь, я смотрел на его серьезное сосредоточенное лицо и на смешные детские бровки, на которых поблескивали редкие светлые волосики. Внезапно он взглянул на меня, поймал мою улыбку и сказал:

– Вы чего смеетесь?

– Я не смеюсь, – сказал я немножко даже испуганно. – С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я люблюсь, как ты ловко работаешь.

– Как это ловко? Обыкновенно работаю.

– Ого! – сказал я, покачав головой. – А ты, адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый...

Он опять, но на этот раз, как мне показалось, с некоторым любопытством взглянул на меня и сказал:

– А вы откуда знаете, что я – адмирал Нахимов?

– Ну, мало ли? Слухом земля полнится.

– Что, на батареях были?

– Да, на батареях.

– А! Тогда понятно.

– Что тебе понятно?

Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли вообще рассусоливать со мной, и наконец ответил:

– Командиры меня так дразнят: адмиралом. Я ведь их тут всех обслуживаю: и зенитчиков, и летчиков, и моряков, и из госпиталей которые...

– Да, брат, работы у тебя, как видно, хватает, – сказал я. – Устаешь здорово небось? А?

Он ничего не сказал, только пожал плечами. Что работы ему хватает и что устает он зверски, было и без того видно. Лодка опять шла наперекор течению, и весла с трудом, как в густую черную глину, погружались в воду.

– Послушай, Матвей Капитоныч, – сказал я, помолчав. – Скажи, пожалуйста, откровенно, по совести: неужто тебе давеча не страшно было?

– Это когда? Где? – удивился он.

– Ну, давеча, когда зенитки работали.

Он усмехнулся и с каким-то не то что удивлением, а пожалуй, даже с сожалением посмотрел на меня.

– Вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да! – сказал он.

– А разве ты ночью тоже работал?

– Я дежурил. У нас тут на Деревообделочном он зажигалок набросал целый воз. Так мы тушили.

– Кто «мы»?

– Ну, кто? Ребята.

– Так ты что – и не спал сегодня?

– Нет, спал немного.

– А ведь у вас тут частенько это бывает.

– Что? Бомбежки-то? Конечно, часто. У нас тут вокруг батареи. Осколки так начнут сыпаться, только беги.

– Да, – сказал я, – а ты, я вижу, все-таки не бежишь.

– А мне бежать некуда, – сказал он, усмехнувшись.

– Ну, а ведь честно-то, по совести, – боязно все-таки?

Он опять подумал и как-то очень хорошо, просто и спокойно сказал:

– Бойся не бойся, а уж если попадет, так попадет. Легче ведь не будет, если бояться?

– Это конечно, – улыбнулся я. – Легче не будет.

Мне все хотелось задать ему один вопрос, но как-то язык не поворачивался. Наконец я решился:

– А что, Мотя, это правда, что у тебя тут недавно отец погиб?

Мне показалось, что на одно мгновение весла дрогнули в его руках.

– Ага, – сказал он хрипло и отвернулся в сторону.

– Его что – осколком?

– Да.

– Вот, видишь...

Я не договорил. Но, как видно, он понял, о чем я хотел сказать. Целую минуту он молчал, налегая на весла. Потом, так же не глядя на меня, а куда-то в сторону, хриплым, басовитым и, как мне показалось, даже не своим голосом сказал:

– Воды бояться – в море не бывать.

– Хорошо сказано. Ну, а все-таки – разве ты об этом не думал? Если и тебя этак же?

– Что меня?

– Осколком.

– Тьфу, тьфу, – сказал он, сердито посмотрев на меня, и как-то лихо и замысловато, как старый бывалый матрос, плюнул через левое плечо.

Потом, заметив, что я улыбаюсь, – не выдержал, сам улыбнулся и сказал:

– Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж... Тогда, значит, придется Маньке за весла садиться.

– Какой Маньке?

– Ну какой! Сестренке. Она, вы не думайте, она хоть и маленькая, а силы-то у нее побольше, чем у другого пацана. На спинке Неву переплывает туда и обратно.

Беседуя со мной, Мотя ни на минуту не оставлял управления лодкой. Она уже миновала середину реки и теперь, относимая течением в сторону, шла наискось к правому, высокому берегу. А там уже поблескивали кое-где стекла в сереньких дощатых домиках, из-за дранковых, толевых и железных крыш выглядывали чахлые пыльные деревца, а над ними без конца и без края расстилалось бесцветное бледно-голубое, как бы разбавленное молоком, северное небо.

И опять на маленькой пристани уже толпился народ, уже слышен был шум голосов, и уже кто-то кричал что-то и махал нам рукой.

– Мотя-а-а! – расслышал я и, взглядевшись, увидел, что это кричит маленькая девочка в белом платочке и в каком-то бесцветном, длинном, как у цыганки, платье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.